



РОВЕСНИКИ

* анатолий гриценко

*igorь григорьев

* анатолий гусев

* аннасолтан кекилова

* турар кожомбердиев

* олесь лупий

* олег орач

* мария романова

* виктор старков

* бемурза тхайцухов

* рамиль хакимов

* анатолий щербаков





*

РОВЕСНИКИ

Издательство ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия»
1970

P2

P58

В книгу «Ровесники» вошли стихи поэтов разных национальностей нашей страны. В ней наряду с известными поэтами Игорем Григорьевым и Бемурзой Тхайщуховым представлены и совсем молодые авторы, такие, как Анатолий Гриценко и Аннасолтан Кекилова. Интересны судьбы поэтов, их творческие почерки. Некоторые поэты принимали участие в работе IV и V Всесоюзных совещаний молодых писателей.

Лирические герои книги — наши молодые современники, внимательно взглядывающиеся в жизнь, утверждающие в ней высокие нравственные начала. Книга объединяет стихи о героическом труде молодежи со стихами о любви и дружбе.

ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВ



Игорь Григорьев родился в 1923 году в деревне Ситовичи на Псковщине. Там рос и учился.

Во время Отечественной войны партизанил на псковской земле. Был разведчиком. Четырежды тяжело ранен.

После войны работал грузчиком, фотографом, промысловым охотником, геологом. В 1954 году окончил литературный факультет Ленинградского университета.

Первый поэтический сборник вышел в Ленинграде в 1960 году.

В настоящее время Игорь Григорьев автор шести книжек стихов и поэм. Он член Союза писателей СССР с 1963 года. С 1968 года — ответственный секретарь Псковской писательской организации.



Покойны желтые озера,
Спокойны синие пески:
Они как старость — без укора,
Они как юность — без тоски.

Над ними льдела и кипела
И старина и новизна,
А им до века мало дела —
Все та же синь да желтизна.

Хоть друг, хоть недруг хлопни дверью —
Ни радостно, ни горевно...
А я не верю, я не верю,
Что все на свете — все равно.

ВЕЛИКАЯ

К тебе придет рассеянный турист,
Взберется на карниз известняка,
Посмотрит равнодушно сверху вниз,
Холмистые окинет берега,
Пожмет плечами: «Ты невелика,
Хваленая великая река».

А я с воспоминанием вдвоем
На берегу твоем стою без слов.
Не нагляжуясь на чистый окоем,
На стену поседелых плитняков,
На псковских работящих мужиков,
Не надышусь лучистым холодком.

Ты слышала, как мать моя, стена,
У старого плетня в ботве густой
В свои семнадцать лет ждала меня;
Ты видела, как я увидел свет —
Ярчайший, первый, густо-голубой,
Заполненный солнцем и тобой.

Не кто-нибудь другой, а ты меня
В разгаре августа, в начале дня,
Обмыла, окрестив святой водой.
Потом, когда пришел медовый зной,
Густой, тягучий, влажный, луговой,
Ты, колыхаясь, гулькая, звеня,
Баюкая искристою волной,
Запела песню дедов надо мной.

Не кто-нибудь другой, а ты меня
Избавила от лютого огня
В пылающем сорок втором году,
Когда отряд наш угодил в беду
И пасть свою сомкнула западня.
Горела гимнастерка у меня,
Под сердцем жег свинец:
«Конец... конец!..»
И задыхался я, судьбу кляня...

Не кто-нибудь другой, а ты
Мне пламя залила,
И остудила боль живой водой,
И, от карателей пригорком заслоня,
Скрывала в камышах до темноты.
Что было бы со мной, когда б не ты!..

Ты знаешь: я не гость заезжий здесь,
А сын крещеный твой!

Все, все во мне твое — что будет и что есть!
Где бы ни был, я неразделим с тобой:
Твой весь!

И что с того, что ты невелика,
Родимая Великая река!

ГОРЬКИЕ ЯБЛОКИ

На доброй пашне, в широкополье,
Олешник вымахал да лоза;
В саду березовое раздолье
Глумится в горестные глаза.

Тропа лосиная, сыроечки,
Разлопушилась вовсю трава;
Как непогашенные головешки,
Мелькают в гуще тетерева.

В тени цикута пьянее, глуша,
На взлобке лысом солнечный гнет.
И вдруг тебе, как смутную душу,
Чащоба яблоню распахнет.

Узнал? Припомнил босое детство:
Сад в белом смехе, в обнимке нив —
Совсем не чье-то, твое наследство,
Тебе завещанный белый налив?

Тихую радость, льнущую к дому,
Бери, бывало, хоть из окна!
Тебе, тебе — никому другому, —
Тебе была вручена она...

Ручей зачахший. Замшелый мостик.
Крыльцо — два камня по старине...
«Я рада! Здравствуй! Надолго в гости?
Ну как жилось-то на стороне?

Чего ж срываешь ты шишки с ели?
Я зла не помню. Добра не жаль.
Ведь снова август, плоды поспели:
Иди ко мне, снимай урожай...»

Пылает полдень, а мне морозно:
Как в суд с поличным привели...
Не надо, сердце! Еще не поздно
Просить прощения у земли!

ЗИМНЕЕ

Тычет в глаза пологая гладь,
Течет без майских прикрас.
Ни обогнуть, ни обогнать,
Никуда не запрятать глаз.

Нага, холодна, как вир без дна,
С канюком-стариком в борозде.
Только она, одним-одна,
Куда ни метнешься — везде.

И два кургана молчат на ней,
Точь-в-точь застывшая грудь.
И вросших в землю глухих камней
Никаким стихом не спугнуть.

Никаким костром, никаким огнем
Не размаять немой белизны:

И ночью и днем, ни ночью ни днем
Не размывать до самой весны.

С ноября до чибисов глади стыть
На ветру каленом, как нож.
Ни позабыть, ни разлюбить.
Ни взять, ни отдать всю дрожь.

Она насовсем: она в тебе,
Душа под коркою льда.
И каждая льдинка в ее судьбе —
Твоя ледяная беда.

И каждая слезка в чистых очах —
Горючее горе твое...
Причастись: веснеет в зимних ночах
Озябшее сердце ее!

ПАМЯТЬ

На сердце у леса
Святое проклятое прошлое:
Горюнится лобное место,
Невинной полынью заросшее.

Роняет ракита,
Как гильзы, латунь сентябриную...
Забыто, забыто, забыто.
Зарыто. Заровнено глиною.

Ни рва, ни кровинки —
Все годами списано, сглажено.

Осинами стали осинки,
Лепечут: «Все мирно, все слажено.

Прихожий, прохожий,
Не стой, выстывая под тучами:
Не надо, не надо тревожить
Могилы глазами горючими.

Им выситься долго,
Их горького долга твое не касается...»
Но давнее — взяло! отволгло! —
Как ливень слепой, разгорается:

Поляна за кромкой;
Как сердце седое урочище;
Морозище, красный и громкий,
И шмайссера око хохочущее.

И эти осинки —
Прямые, рядочком, одиннадцать.
И заступ в дымящем суглинке,
И ров. И нельзя отодвинуться.

И унтер хрюпящий,
Как будто не он нас, а мы — его!..
И рядом! Ах, близко до чаши!
И выдох стенящий: — Мы з Киева-а!..

И все. Темнотюга.
Ни боли, ни жара, ни холода.
Очнулся я: плакала выюга
Разгневанно, истово, голодно.

И хлюпало глухо
В груди, рушником запеленутой.
И все повторяла старуха:
— Убитый, а смертью не тронутый!..

Скорбяще глядела,
Крестила усохшими пальцами:
— Пожуй — подходяще для тела.
В картошку б солицы да сальца бы!..

И ладно ли, худо
Творила она милосердие,
Мой критик, неверяющий в чудо,
Ведь слышишь: дышу после смерти я!

И память живая,
Бессонная, жгучая, длинная,
Стучится, взывая:
Поляна! Поляна полынная!

НАБАТ

Обозы, обозы, обозы —
Такое, как в дни старины!
Искромсаны в щепки березы
Нещадной секирой войны.

И стынут в тепле буйноцвета
Мужья... Бобыли... Сыновья...
Не сделано столько! Не спето!
А в рощу веселое лето
Вселило для них соловья.

А в селах глухие разрывы
Да толом пропахшая жизнь.
И кажется — тучные нивы
Рыдают над каждым: проснись!

Щетинится жердь у омета
Вихрастой певучей листвой,
А в поле частят пулеметы,
Свинец высевая густой.

И день непроглядью лохматой
Задернут на тысячу верст.
Отчизна! Твои ль это хаты
С окошками, полными слез?

Твоя ль эта радость лесная?
Кладбищ вековечная грусть?
Вот этот, как рана сквозная,
Большак в заповедную Русь?

И эти понурые люди?..
Бедует набатная весть:
Никто, кроме нас, не рассудит,
Что будет! Что было! Что есть!

МОСКВА

Ты до сих пор не пересох,
Свирепый мох, соколий мох,
Наш тяжкий вздох.

Не позабыть: брели без сил,
Свинец над нами голосил,

Казался тьмою белый свет,
А главное — патронов нет.

Отбит наш приступ штыковой...
Торчит «костыль» над головой,
И за спиной —
Полк егерей глухой стеной!

Ни встать, ни лечь, ни повернуть:
Трясина! Шаг ступил не так —
И все, земляк,
Окончен путь!

А впереди на нас глядит
Немая синяя беда —
Вода!
Куда идти? куда? куда?..

Мы оседлали островок —
Сто сажен вдоль, сто поперек —
И залегли кольцом
В плывун,
В дурман-богун,
К врагу лицом.

Приказ: — Держаться до утра!
Стреляют только снайпера!
Друзья, не промахнись,
А то!..
— Зови Москву! Зови, браток!
Зови, радист!
— Радист, радист, поторопись!

А до Москвы — полтыщи верст,
В крови, в плену, слепых от слез.
А у нее недобрый день,
Тяжелый час,
Ей не до нас:
Над нею враг навис, как тень,
Там от его стальных когтей
Дрожит и дыбится земля,
Ярятся бомбы у Кремля.

Ты, мать, поймешь своих детей,
Ты не осудишь нас:
Нам без тебя нельзя сейчас,
Нельзя без помощи твоей.
— Зови, радишь! Зови скорей!

И ты пришла в глухие мхи,
Дошла! Нашла! Спасла!
Сама оставшись без крохы,
Патроны принесла:
— Пока живу, живете вы,
Хотя и нелегко! .

Кто говорит, что «до Москвы
Далёко-далеко»?

СИНИЦА

Не знаю, сколько здесь целых тел
Из всех из нас можно собрать,
Но душ, в которых светляк теплел,
Бедовало в палате — двадцать пять.

Был каждый вдох как штык под ребро,
Стук сердца искры из глаз высекал,
И лапа когтистая рвала нутро
И клала бывалых ребят наповал.

А в окна ломился плакун-февраль,
Сжигал, лиходей, надежд мосты.
И вся наша даль, бескрайняя даль,
Кончалась у самой первой версты...

И вдруг из клятой кромешной мглы,
Как смех ребенка, чист и высок,
Тише безмолвия, тоньше иглы,
Пробился к нам ее голосок!

Удивился дядя:

— Вишь ты, поет.

Братки, да это ж к теплу она,
Гляньте: на стеклах отходит лед! —
И всхлипнул по-детски:

— Вот те и на!

Ей-богу, веснеет! Теперь поживем:
Синицы не пробуют зря голосов!.. —
Он так и умер с веселым ртом,
С красной слезиной в щетине усов.

Как просто, как люто:

ни стен, ни границ,
И незачем боль, и что ему даль!..
А мы остались слушать синиц,
Любить, горевать, поминать февраль.

МАТЬ

Марии Васильевне,
матери моей

«Извещаем, что...

...за Родину...

...с врагами...» —

В черном оконе пять коротких строк.

Заходила ходуном божница,

Закачалось под ногами,

Надавил на плечи горбатый потолок...

Отдышалась.

Узелок достала. Развязала:

Сдунула пылинку с распашонки,

Расчесала завиток волос...

Тихая, прямая, светлая стояла:

Ни полстона с пересохших губ не сорвалось.

Стала успокаивать плачущего почтальона,

Причитающих соседок проводила на крыльце.

А кругом плясал, гудел пожар зеленый,

И огонь оледенелый бил в открытое лицо!..

Огляделась:

Край зари, дорога — все как было, —

Та же глина, хата, зябкость...

И, скупых не пряча слез,

Сухонькой рукой

Бумажку стопудовую сложила:

— Будет, бабоньки.

Развиднело.

Пора на сенокос.

ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ

Когда увидите свет разгневанными глазами,
А сердце кровоточить отчается и проклинать,
Шепчите как заклинанье,
Говорите вслух как признанье,
Кричите как приказанье:
— Восемьдесят пять!
— Восемьдесят пять!!
— Восемьдесят пять!!!

Чтобы все слышали, видели, ведали,
Чтобы безумству смердящую пасть не разъять,
И в черные беды и в солнце победы
Нельзя, чтобы люди забвенью предали
Восемьдесят пять,
Восемьдесят пять,
Восемьдесят пять...

85 тысяч в одной могиле!
И некого звать, никого не назвать;
А ведь все они имена имели, все людьми были;
Но часы пробили, часы пробили —
Душегубки дымили, дымили, дымили:
Восемьдесят пять...
Восемьдесят пять...
Восемьдесят пять...

О бедная мать, и зачем ты сердце дала мне?
Здесь бой его страшен, грешно тут дышать,
На колени швыряет, сжигает глаза мне
Бездыханная цифра на мертвом камне,
Бесконечная цифра на белом камне,
Беспощадная цифра на огненном камне —

85II

85III

Я открываю глаза, вижу спокойные выси,
Встаю с колен, корю себя: «Разум — вспять?
Адская небыль, сгинь, не снись ты!..»
Но надо мной, над землей, над небом
Немо нависли,
Грохочущие, как выстрел, —

85!

85!

85!

У реки Шелони, над псковским полем,
Им бездну веков
В сто семьдесят тысяч глаз
Заклинать, заклинать, заклинать!..
Слушайте, сущие:
В восемьдесят пять тысяч болей
Взывают к вам невольники воли,
Взывают к вам ради вашей доли —
Восемьдесят пять,
Восемьдесят пять,
Восемьдесят пять!

Чтобы Земле не ведать смертельной стыни,
Чтоб никому никогда ни колен, ни голов не склонять,
Твердите миру о поле, в котором бездомней пустыни,
Шепчите сердцу о страшной святыне:
Восемьдесят пять,
Восемьдесят пять,
Восемьдесят пять...

Жизнь не может вас не понять!

ПРОВОДЫ

Людмила Зыкиной

Потому что я сам осенний, что ли,
Мне осень всего милей?
Догорает тихонько мое поле,
Пригасает под горький зов журавлей,

Приникает. А они курлычат...
А ум усыпленье звенит в ответ,
А их тонюсенькие березки пугливо кличут,
И одинокая девушка долго глядит вослед.

Взметнула руки к безучастному небу
И не шелохнется: некуда? Не взлететь?..
Стоит, чужая желанная небыль,
Погруженная в прозелененную медь.

А журавли все ниже, все глуше,
Все глубже тонут в прощальную тишину...
И вот уже не расслышишь, что затекает в уши,
И что в глаза наливается — не углядишь.

Но я, затерявшийся, заробелый
И, может, чуточку сам не свой,
Гляжу, гляжу на платочек белый,
Застывший над непокрытою головой.

И зачем она? И о ком — так истово,
Так неусыпно, так целиком?
А вечер из-за осинника багрянолистого
Слизывает дорогу вкрадчивым языком...

А поле грустит о крылатых рыдальцах,
О себе, о весне, о нас.

Но белый флаг в терпеливых пальцах
Трепыхнулся, снизился и угас!

СОН О ДОМЕ

Мы теперь — на самом краю:
Мы — это я да мыши.
Весь я совсем не топлен стою...
Ты, хозяин, не спиши?.. Ты меня слышишь?

Ну какая это компания — мышь?
Куда ни шло, хоть бы кот захудалый...
Ох, батька беспечный, ты вроде хранишь?
Устал, говоришь? А я не усталый?

По-твоему, я бедняк неживой,
А ты на червонцы нацелил рыльце.
Вот дрыхнешь, а мне от тоски ножевой
Никуда не уйти, некуда скрыться.

Сегодня как раз день именин;
Поневоле заплачешь с такого веселья:
Который год, как стою один, —
Десятый год с твоего новоселья.

Не признаешь меня? Я — твой дом,
По-старому то есть — судьба-опора.
А тут бригадир страшает: «На слом!»
Подо мной, виши, сотка земли без призора.

Я-то не робкий, да трусь не трусь,
А понимать положение надо:

В одиночку долго не продержусь,
Пропаду через год-другой без догляда.

Сам посуди: на полах мокреть,
Крыша-то в девяти местах прохудилась...
Ты уж прибудь на нас посмотреть,
Сделай такую милость.

Хотя ко мне заросли пути,
Хоть бузина разбузилась окол,
В деревне меня попробуй найти
По кривой трубе да окнам без стекол.

Как, значит, прибудешь, пройди лесок,
Потом в круто склон покарабкайся малость:
Три шага — и ступишь в белый песок;
Не забыл, как в нем хорошо игралось?

Отсель до меня подать рукой...
Не дюже заманчив стал, не скрываю.
А каков бывал, был я какой:
Не из последних, да и не с краю!

Да вот соседей моих и друзей
За бутылку и сотню мятых рублевок
Пожгли на дрова, где Сам ротозей,
Перетянули в город, кто ловок.

Признаться, и я с такой маэты
Готов очистить землю хоть ноне ж,
Да вот все думаю: как же ты?
Где без меня главу приклонишь?

В ПЕРВУЮ ТИШЬ

Замри у спаленной опушки,
Ничуть не боясь, подыши.
Грохочет!.. — Да это ж лягушки.
Крадется!.. — Так то ж камыши.

Взывают нещадные трубы!.. —
Не рвись: гомонят журавли.
Над лесом багровые клубы!.. —
Заря доспевает вдали.

Стенанья протяжные, вдовьи!.. —
Ведь это неясить поет.
И полнится синею кровью
Раскиданный паводком лед.

И месяц линем неторопким
Полощется в мутном пруду.
И станешь ты тихим и робким,
Зачем-то с собой не в ладу.

Зачем-то к земле равнодушной
Прижмешься холодной щекой,
Как в детстве сгоревшем, послушный,
Вздохнешь, что совсем не такой.

Ах как мы отвыкли от весен!
Ах как мы без них не могли!..
Копейки сиреневых блесен
На рыжую глину легли.

Восход, желтопёрая птица,
Смеется за черным бугром!..

И весело вдруг загрустится,
И горькое вспомнишь добром.



От деревенщины моей,
От сельской простоты
Остались только горечь пней
Да ломкие кусты.

Давно повален темный бор,
Дремучий, вековой.
Причастен к ней и мой топор,
К той рубке гулевой.

Ни горожанин, ни мужик,
Своей родне ничей,
Я раскаленным ртом приник,
Но глух сухой ручей.

По лысым валунам скользжу:
Ни струйки — с той весны.
Тревожно память ворошу:
Как мало там казны.

Осталась горстка чабреца
(Чабрец?.. Иль иван-чай?..)
Да незабвенного лица
Прощальная печаль...

Прошли немалые года,
Затих великий гром.

Чего я только не видал
На свете горевом!

Я разучился просто жить
И бросил просто петь.
Теперь уж поздно дорожить,
Копить копеек медь.

И Русь не та, и сам не тот —
Иные времена.
Но в ворохе золы живет,
Горит моя вина.

Я ИДУ

Я иду через покосы
Пряником.
Я иду, простоволосый,
Далеко.

А вокруг меня давнишняя
Родня:
Бусы свешивает вишеник
С плетня,

У дороги дремлют вязы,
Вьется хмель,
Над колодцем долговязый
Журавель.

Утро искры горстью мечет
На пруду...
Ничего, что мне далече, —
Я иду!

ВИШЕНКА

Саше Портновой

Маэм ласковым горько обижена?
Кипень-платьем не очень бела?
Что же ты загорюнилась, вишенка,
От подружек в сторонку ушла?

Всем им просто цветется и песенно —
С ветерками шуршат на заре.
Ты одна пламенеешь невесело,
Будто белый пожар на бугре.

Сквознячка не приветила вешнего;
Льется грусть из-под строгих бровей.
Ждешь кого иль иного, нездешнего?
Иль не можешь забыть суховей?

Я ведь знаю: ты мне не доверишься.
Не раскроешь тревожную грудь;
Но люблю у высокого бережка
В чистом пламени жарко взгрустнуть!

Все горит, снегово и возвыщенно,
Неподвластное ветру лицо...
На мою невозвратную Вишенку
Ты похоже, горюн-деревцо.

ИЮНЬ 1945

В деревне уже затопила курганы
Такая большая трава;
На зорях гравастятся росы-беляны,
О если б не хата-вдова!

Ей спится привычно, ни шатко ни валко:
Ни пир не тревожит, ни пост.
Ей годы пророчит кукушка-гадалка,
Ее превозносят до звезд.

А день ничего себе: точен и прочен,
Всему свой и срок и черед.
Здесь даже осиновый тын у обочин
Что может от жизни берет.

Он крохотки-корни земле загрубелой
Доверил, и сжалась мать —
Зажгла, одарила листвой оробелой,
Торопится свадьбу сыграть.

На нем восседая, петух горлопанит —
Куриного дома глава,
Шумит, как форсистый подвыпивший парень,
Которому все трян-трава!..

И солнце падет — ни единой минуты
Зеленая ночь не смолчит:
В высокой осоке и ряно и люто
Зовут дергачих дергачи.

Весь ласковый мир веселó-виновато
Поет, не давая заснуть.
И родина, если б не вдовая хата,
Была бы не горькой. Ничуть.

ПОЭТЫ

Мы ветра и огня поводыри
С тревожными раскрытыми сердцами,

Всего лишь дети, ставшие отцами,
Все ждущие — который век! — зари.

Сердца грозят глухонемой ночи,
За каждый лучик жизни боятся строго
И кровью запекаются до срока,
Как воинов подъятые мечи!

С крылатой песней люди не рабы,
И что нам, хоть какая будь награда, —
Нам надо все. И ничего не надо.
И так всегда. И нет иной судьбы.

Нас не унять ни дыбой, ни рублем,
Ни славой, ни цикуты лютой чашей:
Курс — на зарю! А смерть — бессмертье наше.
И не поэт, кто покривит рулем!



Валентине Черновой

Не шелухнется, не встрепенется
Отгулявший свое полынок.
Никого — ни синицы, ни солнца,
Только тлен торжествует у ног:

«Ясноглазые угли ослепли,
Отроняли горячую дрожь:
Ни искринки в безжизненном пепле,
Не надейся, костра не зажжешь.

Не задышут холодные травы,
Отлюбили, отверили в май.
Журавли покоренные правы:
Допивай, допевай, улетай.

Поаукает память скорбяще
И ударится грудью о лед...
Слышишь, в пленной безропотной чаще
Холод синие песни поет?

Видишь, в скошенном, в скованном поле
Сумрак темные точит ножи?
И уже ни заботы, ни боли
Горицвету у черной межи...»

Лес распахнутый, лист отзвеневший,
Птицы смолкшие — сердцу родня,
Я люблю этот мир присмиревший,
Ожидавший красного дня!

ПИСЬМО ЛЮБИМОЙ

Ты нынче песни новые поешь,
По-новому смеешься и горюешь,
Ты городу красу свою даруешь,
А я все тут, все на себя похож.

Пашу и сею, с мужиками пью
(И хоть бы что без городского быта),
Тревожу совесть — страшную судью,
Припоминаю то, что позабыто...

У нас — дыши! Уж не томит жара,
И желтизною сентябрят из леса —

Приходит стихотворная пора!
Да это все тебе без интереса.

А я все виршами себя лечу,
Жду славу, все надеюсь заработать.
Ты хмуришься: «Пегас не по плечу»,
Ты гневаешься: «Свой кусает локоть».

Считай как можешь; каждому — свое:
Ты любишь жить надежно, я — надеждой.
Спокойной прозой душеньку утешь ты —
Не мне судить твое житье-бытье.

Я не сбьюсь с дороги, не тужи,
Не прокляну затученное солнце,
Я не один, мне есть что петь, кем жить:
Любимая — любимой остается.

РОВЕСНИКИ. Сборник стихов. М., «Молодая гвардия»,
1970.

304 с.

P2

Редактор **И. Бурсов**

Ответственный редактор-составитель **М. Беляев**

Художник **Д. Шимилис**

Худож. редактор **А. Романова**

Техн. редактор **И. Соленов**

Корректоры **Б. Шагалова, З. Федорова**

Сдано в набор 22/VI 1970 г. Подписано к печати 29/X
1970 г. А10150. Формат 70×108 $\frac{1}{32}$. Бумага № 2.
Печ. л. 9,5 (усл. 13,3). Уч.-изд. л. 12,1. Тираж 10 000 экз.
Цена 1 р. 33 к. Т. П. 1970 г., № 332. Заказ 1070.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.